

Ефим Бершин

Песочные часы Юрия Левитанского

По стихам Юрия Левитанского гуляет сквозняк. Всегда. О чем бы ни писал – сквозняк. Как будто он жил с дырой в стене. С дырой, из которой время от времени появлялись не видимые другим люди, выползали не ведомые другим события, звучала не слышимая другими музыка. А иногда вместе с этим в комнату просто врывается снежная буря или проливной дождь. Но чаще сквозняк почти незаметно уносил в эту дыру все, без чего вчера еще жизнь казалась невысказанной. Всех, без кого жизнь – не жизнь. И засыпало снегом времени.

Снегом времени нас заносит – все больше белеем.
Многих и вовсе в этом снегу погребли.

Погребли, оставив лишь

...Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта отчаянья.
Последней Надежды туманные острова...

И изумленный Левитанский, понимая и в то же время по-детски не понимая, что происходит, вдруг выдохнул: «Робот храпит у меня за стеною».

Что ж, робот так робот. Неважно. Важно другое: этот «кто-то» за стенкой, с которым он жил, беседовал, спорил, умиротворял, – никуда и никогда не исчезал. Этот робот прописывался везде, где прописывался Левитанский. Он был полноправным членом семьи. Даже не так – он был главным членом семьи. Беспокойным. Иногда буйным. Всегда чужеродным. Сожителем,

с которым родственные связи вроде бы и не прослеживались, но оказались более прочными, чем любые родственные узы. Попытки его умиротворить, конечно, ни к чему не привели и привести не могли. При всей детской и недетской мудрости Левитанского.

Вот эта дыра в стене, этот постоянный сквозняк и порождали в Левитанском ощущение постоянной бездомности. Будто не в доме, не в квартире жил. И даже не в чужой квартире – на заметенном перекрестке, со всех сторон продуваемом, где нет ни указателей, ни светофоров. А видимость выбора четырех дорог – только видимость выбора четырех дорог. И – вечный выбор пятой, шестой, седьмой, куда никакие указатели не ведут. Вот и стоял. Обездомленный.

* * *

Но Левитанский не был бы Левитанским, если бы не попытался и этот ужас осветить своим собственным, таким неповторимым, таким теплым светом. Левитанский не был бы Левитанским, если бы не попытался согреть этот вечный ползущий из стены холод, вывернуть все наизнанку. Создать или даже просто осознать все это как праздник. Пусть и грустный праздник, но все-таки праздник:

Светлый праздник бездомности,
тихий свет без огня.
Ощущенье бездонности
августовского дня...

Левитанский был мудрым и неторопливым не только в суждениях. Но и в жизни. Многим, кто знал внешнюю канву жизни поэта, это утверждение покажется чрезвычайно спорным. Ну, как же:

Были смерти, рожденья, разлады, разрывы –
разрывы сердец и распады семей –
возвращенья, уходы...

Да, было. Все было. Но не просто «разрывы сердец и распады семей», не просто «возвращения, уходы», после которых – новый «светлый праздник бездомности». Все это – почти безысходная попытка примирить свою жизнь с требованиями того самого робота, что храпит за стеною. С этим бесконечным сквозняком, одновременно дающим и отбирающим все самое ценное, что было в его жизни. Отбирающим близких, отбирающим покой, отбирающим саму жизнь. Но дающим стихи, а значит, и жизнь тоже. Тут никакой мудрости не хватит. Нельзя победить стихию, как нельзя победить Бога. Но можно попытаться договориться. Вот он и договаривался.

Замирая, следил, как огонь подступает к дровам.
Подбирал себя так, как мотив подбирают к словам...

Это – мудрость. Мудрость, проявляемая в сверхжестких условиях отсутствия выбора.

Переезжая с места на место, с одной квартиры на другую, Левитанский неизменно перевозил за собой свой сквозняк, свою дыру, своего робота. И вскоре выяснялось, что опять, как в этом же стихотворении, после того как

...доиграла шарманка, в печи догорели дрова.
Как трава на пожаре, остались от песни слова.

И – «стоят холода, и стоят над землей холода». Все сначала. Правда, «остались от песни слова». Не в этом ли главное?

* * *

Левитанский писал даже не отдельные стихи, а целые книги. Мыслил – книгами. Потому и не ставил под стихами дат написания. Видимо, так. И сегодня сложно определить, когда именно были написаны «Песочные часы». Если впервые они попали в книгу «День такой-то», то и написаны были где-то в первой половине семидесятых. Значит, тогда и мелькнула эта мысль... Или не мысль даже – ощущение безысходности перемещения

из одного пространства в другое. Перемещения и возвращения. Через ту самую дыру. Через ту маленькую безысходно втягивающую в себя воронку, так похожую на воронку песочных часов. Туда-назад. Безысходно – потому что полагал, будто мы не властны над теми, кто переворачивает где-то над нами «два конуса стеклянных». И Левитанский (опять же о мудрости, безысходной, обреченной мудрости) сумел осознать себя одной из песчинок, струящихся сквозь воронку пространства и времени.

Я был частицей этого песка,
частицей бесконечного потока,
вершащего неутомимый бег
меж двух огромных конусов стеклянных...

Он жил в том пространстве и в том времени, где от человека мало что зависит. Он общался с теми силами, с которыми не поспоришь. Мужество в данном случае – не спорить с тем и теми, с кем спорить бесполезно. Левитанский, зная историю Иова, оказался мудрее Иова. Мужество в том, чтобы на этом фоне заставить себя жить обычной жизнью, хотя уже и «проснуться было так неинтересно». Мужество в том, чтобы все-таки просыпаться, все-таки вставать, бриться, пить чай, кому-то помогать, совершать поступки

...между тем как день
все время просыпался,
просыпался,
пересыпался,
сыпался
и тек
меж пальцев, как песок
в часах песочных,
покуда весь просыпался,
истек
по желобку меж конусов стеклянных,
и верхний конус надо мной был пуст,
и там уже поблескивали звезды,

и можно было вновь идти домой
и лечь в постель,
и лампу погасить,
и ждать,
покуда кто-то надо мной
перевернет песочные часы,
переместив два конуса стеклянных,
и снова слушать,
как течет песок,
неспешное отсчитывая время.

Так вот. Песочные часы. Лабораторная колба времени. Туда-сюда. Песок перемещается из пространства в пространство сквозь узкую горловину. По песчинке, по человеко-песчинке, «по желобку вдоль конусов стеклянных». Зачем? Чтобы попасть из одного замкнутого пространства в другое, в котором только и может быть актуальным то, что мы называем временем? Время не живет на свободе – только в замкнутой на все засовы камере человеческого бытия. И что? Спасаться, проникнув сквозь игольное ушко за стену крепости, где стены будут уже со всех сторон?

И кто переворачивает эти часы? «Кто-то надо мной...»? Тут не хочется соглашаться с Левитанским. Не «кто-то» – сам человек и переворачивает. Иначе не умеет. Страшно. Так и возникает супрематическое время.

* * *

В «Разговоре о Данте» Мандельштам пишет о том, что Дант, «соединив несоединимое, изменил структуру времени» или даже «вынужден был пойти на глоссоластию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий именно потому, что слышал обертоны времени». И приходит к выводу, что Дант создал образ «стояния времени». Любопытно. Встав перед проблемой соединить события разных лет, Дант умудрился просто-напросто остановить время.

Левитанский выбрал образ замкнутого времени. Метафору замкнутого времени. Но метафору столь видимую, столь

прозрачную (как сами песочные часы), что она выбивается даже за само представление о метафорах.

У Левитанского все метафоры – прозрачны, видны насквозь. Одна из самых гениальных метафор века – его, Левитанского, из стихотворения «Ну что с того, что я там был...»:

Я лед кровавый в январе.
Я прочно впаян в этот лед –
я в нем, как мушка в янтаре.

Даже зная факт его военной биографии, зная, что при обороне Москвы он лежал на снегу, льду сорок первого года за пулеметом рядом со своим другом и поэтом Семеном Гудзенко, все равно поражаешься. Потому что надо было еще себя увидеть с той немыслимой высоты, откуда война, кровь, оборона, холод сливаются в одну застывшую мертвую точку «мушки в янтаре». И благодаря этой точке пространство войны открывается намного реальнее, явственнее, шире, чем при прочтении многотомных произведений.

Не та ли это точка песочных часов, сквозь которую просачивается время?

Опять же согласимся с Мандельштамом: «Определить метафору можно только метафорически». Развить – тоже. Метафора – ключ в иное видение, ключ к иному пространству и даже иному времени, если таковое существует. Поэтому понять и продлить заключенный Левитанским в метафору путь можно только тем же способом – метафорически. Уйдя от привычной, давно навязшей в зубах, а то и опошленной внешней биографической канвы. «Ну что с того, что я там был». И действительно, то, что он «там был», и не только там, а во множестве других мест, – все это меркнет перед одной маленькой мушкой в янтаре.

* * *

Координаты времени условны.
Привычно говорим – задолго до.
До нас. До наших дней. До нашей эры.

До Рима. До Пилата. До Голгофы.
До Ноя. До ковчега. До потопа.
История – вся сплошь – задолго до.
Живущие меж прошлым и грядущим,
все тщимся заглянуть как можно дальше.
За нами – тьма, и перед нами – тьма.
Так и живем меж тою тьмой и этой,
на крохотном пространстве между ними...

Итак: что если оторвать у песочных часов днища? Горловину оставить, а днища оторвать. И тогда то, что сумеет просочиться, все эти песчинки и человеко-песчинки уйдут в совершенно бездонное пространство. Туда, где «уже поблескивали звезды». Туда, где образуется нановремя. Кстати, известный американский ученый Ричард Фейнман, предтеча нанотехнологий, сделав свое открытие, восторженно воскликнул перед переполненной аудиторией: «В том мире полно места!». Левитанский это понял без Фейнмана, хотя и не мыслил нанокатегориями.

Или не понял, нет. Услышал, почувствовал. Увидел. Да и как было не почувствовать, если вся жизнь его (не образ жизни, а именно жизнь) стремилась за пределы замкнутого времени, туда, где «за нами – тьма, и перед нами – тьма».

Он все-таки попытался оторвать днища песочных часов, чтобы обрести свободу. И вечность обрести. Не без сомнений, конечно. Не без боли. Не без грусти. Не без ностальгического желания вновь попасть «туда, в года неведенья, где так малы и так наивны сведенья...». А кто такого желания не испытывает? Кому приятно жить в продуваемом всеми ветрами пространстве, если так «приятно вспомнить, засыпая, что держится земля на трех китах»?

...и просыпаясь –
да, на трех китах
надежно и устойчиво покоится,
и ни о чем не надо беспокоиться,
и мир – сама устойчивость,
сама
гармония,

а не бездонный хаос,
не эта убегающая тьма,
имеющая склонность к расширению...

В своей манере, конечно, сделал. При помощи формы. Вернее, ее отрицания. Впрочем, и это неточно. Просто Левитанский доказал, что гармония лежит за пределами формы. И это стало инструментом, ключом, попыткой разгадки тайны вечного сквозняка.

* * *

Итак, три проблемы: хаос, гармония и форма. Ключ к решению – ощущение ритмов. По общему заблуждению, ритмы имеют отношение исключительно ко времени. Но это не так. Далеко не так. Так – если говорить о времени замкнутом. Но если речь о нановремени, почти недоступном человеческому восприятию, то ритмы – нечто совсем другое. Это – жизнь. Это до-жизнь, это после-жизнь. До нас и после нас. Это – всегда и везде. Это пульсирующая вечность. Левитанский это почувствовал, увидел «нанозрением»:

Только ритмы, одни только ритмы,
бесконечное множество ритмов,
их биенье, круженье, теченье,
и пересечение,
и противоборство.
Вся Вселенная – скопище ритмов,
грандиозная ярмарка ритмов,
их ристалище,
форум, арена.

Уж согласимся, что в привычное понимание понятия «ритм» ни круженье, ни пересечение, ни тем более противоборство никак не укладывается. «Ристалище, форум, арена» – тем более. Что же это?

Это ритмы вселенского хаоса. Или того, что нам кажется хаосом.

«Хаос – это тот порядок, который был разрушен при сотворении мира», – как-то пошутил Станислав Ежи Лец. Но в этой шутке – никакой шутки. Потому что хаос – действительно порядок. Иной порядок. И мы со своим земным порядком – часть всемирного хаоса, часть той непостижимой для обычного человека гармонии, существовать в которой страшно. Гармония хаоса, переведенная на язык земного порядка, еще воспринимается. В чистом виде – нет. Когда Левитанскому стало тесно в его песочных часах, когда он догадался, что «вся Вселенная – скопище ритмов», и сам заявился на эту «грандиозную ярмарку ритмов», в нем свершилась революция. Она пылала, то затихая, то раскаляясь вновь и в «Кинематографе», и в «Дне таком-то», а окончательно победила в «Прогулках с Фаустом». И он уже мог написать со знанием дела:

...на волнах одного только ритма
плавно качаюсь.
Как прекрасны его изгибы и повороты...

Причем не метаморфоза, а замечательная метафора случилась в нем самом. Его революция оказалась опять же метафоричной. Потому что он вскрыл не только верхний конус песочных часов, где «уже поблескивали звезды», но и нижний, разглядев своим удивительным зрением сходство между ритмами Вселенной и ритмами памяти.

Бездна памяти, расширяющаяся Вселенная,
вся из края в край обжитая и заселенная,
вместе с вьюгами, снегопадами и метелями,
как реликтовый лес не вянущий, вся зеленая.

Бездна памяти, беспредельное мироздание,
расходящиеся галактики и туманности,
где все давнее
только четче и первозданнее,
очевиднее и яснее до самой малости.

И ведь действительно память пульсирует именно так – множеством пересекающихся и противоборствующих ритмов. В ней сверкает, кричит и пенится настоящая ярмарка, где каждое воспоминание норовит перекричать, перепульсировать другое, соседнее. Хотя – какое соседство в бесконечности?

Хорошо: увидел, услышал, почувствовал. Что? «Эту убегающую тьму, имеющую склонность к расширению»? Тьму впереди и тьму позади? И что с этим делать? Гармонизировать такой хаос – это вам не стихи на злобу дня и ночи со сцены Лужников или Политехнического. И Левитанский осторожно, в своей неповторимой лирической манере начал нащупывать гармонию этой тьмы, гармонию того, что по нашим земным меркам вполне можно было бы назвать дисгармонией. Иную гармонию. И оказалось, что она лежит за пределами привычных стихотворных форм. Да и вообще – за пределами формы. В том числе – за пределами формы песочных часов.

* * *

Перечитываю свои же слова, написанные почти сразу же после смерти Левитанского в 1996 году: «Перед русской поэзией XX века у Левитанского есть две бесспорные заслуги: во-первых, он реанимировал глагол, а во-вторых, доказал, что строка может длиться целую вечность, не теряя при этом своей естественности, органичности. После Пушкина никто, кажется, так не любил глаголы, никто их так изысканно не рифмовал, не перекачивал по строке, как волна перекачивает гальку – шурша и звеня. А рифмовал их настолько виртуозно, что складывалось впечатление, будто до него эти глаголы никто и нигде не употреблял. И еще в этом был прямой вызов тем, кто пытается и для поэзии устанавливать какие-то каноны и правила, в частности тем окололитературным снобам, которые почему-то вдруг решили, что глагольная рифма – дурной тон. А традицию понимают как нечто предписанное, связывая ее, в основном, с формой, забывая, что главное-то – в степени таланта, в образе дыхания».

Но право же, не в этом суть,
и спорить о свободе метра –
как спорить о свободе ветра,
решая, *как* он должен дуть.

Конечно, Левитанский, подневольный, или, грубее говоря, раб собственного сквозняка, знал, о чем говорил. Он знал, что «ветер, дождь или трава свободны по своей природе», и приравнял к ним поэзию. Потому что «стих, он тоже в этом роде, его природа такова».

Сделав стих частью природы, слив воедино природу и поэзию, Левитанский обрел свободу. Парадоксально, но факт: он обрел свободу в рабстве. Если слить стих или самому слиться с окружающей средой (какой бы она ни была, кстати), свобода является незамедлительно. Так же парадоксально когда-то написал об этом Григорий Померанц, поведав, что никогда не чувствовал себя таким свободным, как в лагере (это в сталинском-то лагере!), когда они с другом в лютый мороз бродили по вечерам вдоль колючей проволоки и рассуждали о литературе и философии. Объяснить все это сложно. Далекое не все поняли и одобрили, что неудивительно. Как не все поняли, что именно имеет в виду Левитанский, говоря о свободном стихе. А дело просто «в степени свободы», достигнутой в предлагаемых обстоятельствах.

О, только б не попутал бес,
и стих по форме и по мысли
свободным был бы
 в *этом* смысле,
а там – хоть в рифму или без!

Бес, кстати, попутал многих. В девяностые годы, когда на нас обрушился не тот, вселенский, а реальный социальный хаос, молодые и не только молодые поэты, не умея разобраться в его природе, принялись его просто-напросто... украшать. Каких только форм не напридумывали! Отменили знаки препинания – то ли умышленно, то ли по недостатку грамотности. На публичных выступлениях издавали какие-то звериные вопли, выдавая это за поэзию. Ну а большей частью пытались преподнести читателю какой-то не осознанный

Освободившись, Левитанский не то чтобы перестал обращать внимание на классические формы – просто он не гармонию втискивал в формы, а формы заставлял служить гармонии. И появились стихи «хоть в рифму или без». В одном и том же стихотворении рифма у него может появляться и исчезать. Один и тот же стих из ритмичного и рифмованного может переходить в белый, свободный. А потом возвращаться на круги. Для него, владевшего рифмой и вообще словом, как мало кто другой, это не составляло проблемы. При этом он не был упрямым в своем реформаторстве, отдавая дань и классическому стиху тоже. Важным было другое – свобода. Важным было само движенье. Остальное не то чтобы уже не имело значения, имело, конечно, но он не был властен над тем, что ему предстояло открыть.

И почти незаметное, медленное продвиженье,
передвиженье медленное, на семь слогов,
на семь музыкальных знаков, передвиженье,
на семь изначальных звуков, на семь шагов,

и восхожденье, медленное восхожденье,
передвиженье к невидимой той гряде,
где почти не имеет значенья до или после,
и совсем не имеет значенья, когда и где...

Французский художник, писатель и сценарист Жан Кокто написал, что «художник сначала находит, а потом – ищет». Я бы уточнил: свободный художник. К Левитанскому это относится в полной мере. Он сначала находил, а потом уже, иногда через много лет, предпринимал попытку осмыслить найденное. Находил, а потом уже искал, что же это он такое нашел.

* * *

В годы нашего общения я был молод, задирист и многого не понимал. Левитанский понимал, что я не понимаю, но относился к этому снисходительно. «Еще немного поживете – поймете», – приговаривал он. Потому что видел тот «виток дороги»,

на котором я находился, видел направление движения, а это для него было важнее. Он знал, что

...виток дороги – еще не итог дороги,
но виток дороги важней, чем ее итог...

Так и оказалось.

Если бы он сегодня был жив, я готов был бы молчать и только слушать. О тех витках, которые он уже прошел. О том, что там – за другими поворотами, за пределами песочных часов. Но... «Не поговорили».

Остается прислушиваться к сквознякам. К тому сквозняку, с которым он слился, в котором растворился, и который унес его далеко за пределы всех литературных форм – «в бездну памяти, беспредельное мироздание».

Москва

